Г. У меня, как и почти у каждого мальчика из большой еврейской семьи, было много дядюшек и много тетушек. А среди них была любимая тетя, сестра моего отца, и любимая двоюродная сестра, дочь этой тети.

С. А как их звали, вы тоже говорите, пожалуйста.

Г. Нина.

С. Нина это кто?

Г. Нина, или Нинка, как мы ее звали, это моя двоюродная сестра. Нинка. Ее фамилия Зозуля, она была дочка очень популярного в те годы, в тридцатые годы, советского писателя Ефима Зозули, друга Михаила Кольцова. Кольцов – это создатель объединения «Жургаз», редактор журнала «Огонек», создатель этого журнала, постоянный корреспондент – или доверенный корреспондент Сталина – по «Правде», по заданию Сталина ездивший в Испанию, описанный там под фамилией Каркова в романе Хэмингуэя «По ком звонит колокол». Вернувшись из Испании, где он выполнял не только журналистские поручения, а вообще там очень многим распоряжался (это все знают), – через какое-то время он был расстрелян. Он выполнил свое дело – а дело заключалось [в том], чтобы начать гражданскую войну – и кончить ее. Потому что там по нашему приказу в самый неподходящий момент, в самый момент решающий, забрали так называемые интернациональные бригады, которые защищали Мадрид от франкистов. И они ушли во Францию, где они были интернированы, и вообще – была страшная судьба. Приказ Сталина: не воевать, не достигать победы. Ни в коем случае! Никто не понимал, что случилось, а действительно, [зачем ему] победа [там], где либерально настроенные, – а это были большей частью интеллигенты, со всей Европы туда съехались в интернациональные бригады. Этих он ненавидел совершенно. И решил: ладно, пускай французы с ними разбираются. Они вынуждены были перебираться через границу во Францию, и во Франции они были интернированы. Часть попала к нам сюда и тут же попала в ГУЛАГ, - вот судьба, а Кольцов был, значит, репрессирован. А Ефим Давыдович [Зозуля] – это его товарищ по Одессе. Ну, они пользовались особыми благами, возможностями, и поэтому Нинка училась в лицее парижском. Приехала такая парижанка. Абсолютная! Она чуть-чуть была старше [меня] – предмет моего обожания многолетнего, и не только моего.

Она поступила в Литературный институт – потому что папа был писателем. Сама она никаких, по-моему, склонностей к литературе не имела, но зато она имела намерение как-то ярко прожить жизнь. И там возникла первая любовь, которая по тем временам, как ни странно, [окончилась браком] – это были уже тридцатые годы, кончилось время свободы, [свободной любви], тут уже были браки – по разным причинам. Отчасти это связано с тем, что эти браки [давали] возможность уйти из своей семьи, повторить участь своих родителей которые тоже все уходили из семьи. Избранником ее был Юра, я его видел, хорошо помню. Поэт, значит, и учился он в Литературном институте, вместе с ней: она прозаик, а он как бы поэт. Их было тогда немного, это была такая единая группа. Ну, он как-то меня [восхищал] – я был мальчиком, десятилетним или одиннадцатилетним, и он такое производил впечатление! Обстоятельный, не [какой-нибудь] хилый интеллигент.

С. Кто?

Г. Ну, вот этот ее первый муж. И в 37 году – значит, мне было сколько? меньше, [значит], в 38 году! – его забрали, и потом десять лет без права переписки, как тогда они получали. А она получила вот это извещение о том, что, как бы сказать, с ним покончено. Она… брак был у них очень скоропалительным и недолгим, поэтому она пришла в себя достаточно быстро. А кроме того, она вообще полна была жизненных сил – и такого обаяния. И она, значит, как-то [стала жить дальше]. По-видимому, [второй ее избранник] тоже учился там, и оттуда возник брак, более долгий – с Борисом Заходером, знаменитым нашим переводчиком. А у них там была дача, в Валентиновке, где собственно «Жургаз» и построил себе дачи. И это только моя мама, со свойственным ей легкомыслием, [дачу там получать] отказалась. Нам предлагали, но она сказала: нет, ой, это будут очередные какие-нибудь занятия… Папа, который слушался всегда мою маму (и который тоже дружил с Кольцовым) ну, подчинился, естественно. Причем мы потом все время снимали дачу там же – там все родственники вообще [имели дачи]…

С. Где это было?

Г. В Валентиновке! Это за Мытищами, перед Загорянкой сделали. И там я первый раз увидел Бориса Заходера – такого огромного детину. Я очень любил вообще там бывать с Симой, теткой. Сима – это Серафима, певица, которая замечательно пела. И как он ее носил, Нинку, на руках в туалет – как обычно, на больших участках, туалет был где-то в углу, и он ее на руках туда таскал. Она такая хрупкая, тоненькое существо была, совершенно очаровательное. Когда после войны я его увидел, уже сам подросший, то оказалось, что я выше него ростом! Это было одно из главных потрясений моей жизни! А он остался, каким был, он приземистый такой, широкоплечий.

Но потом что-то там [случилось]– брак распался. Дружба – нет! Он женился на ее подружке, и это пара была – самые любимые их гости, самые любимые, близкие люди совершенно.

С. У кого?

Г. У Нинки у моей. Она вышла замуж за архитектора – замечательного, конечно, Ну в это время он…

С. Кто?

Г. Иосиф, Иосиф. Автор, кстати говоря (я не знаю, сохранилось ли, мы там гуляли), на ВДНХ единственный был пристойный, более-менее европейский по стандартам, павильон Радиоэлектроники – вот это он его автор.

С. А как его фамилия?

Г. Я забыл, Господи, вот вылетело из головы!

С. Ну, неважно.

Г. Иосиф. Такая странная фамилия. А это спокойный человек, очень спокойный, очень красивый, но совершенно другой: не поэт, не переводчик, даже не такой поэт, как Заходер, - тот очень бурный, а этот спокойный. И внесший в ее жизнь спокойствие. И отец их сына, который сейчас от всех этих бед сбежал в Америку, и следы его [для меня] потеряны. Это мой, значит, племянник, - есть такой, двоюродный. Со своей семьей где-то он там обитает.

Ну вот, значит, шло время, и они опять-таки там бывали, был совершенно такой замечательный, гостеприимный дом на Дмитровке, теперь она снова стала Дмитровка. Всегда была огромная собака, всегда застолье, вот мы все сидим, и между нами собака большая всегда. Только она не лезет на стол, но кладет морду всегда, ждет когда [ей что-то дадут]… В меру нахальная, в меру воспитанная. Весьма обаятельное [существо], тихая собака, большая. И вообще дом такой, хотя и громкий, но был очень гармоничным. И гармония рухнула, когда умерла тетя… Да, а отец [ее] погиб, пошел, как и все мои дядьки, как мой папа, сразу же пошли – как только началась [война], с началом войны все пошли добровольцами. Все не военнообязанные, всем за 50 лет, все никогда не воевали, не держали [никакого оружия] - все кроме отца погибли, а отец сразу же получил – не ранение, а контузию, очень сильную.

С. А, так отец был на фронте?

Г. Да, с первых дней, конечно! Контузию сразу же получил, его комиссовали, он поэтому единственный, кто и спасся – из всей большой компании. Первый раз я услышал, что там – какие танки, танки это не главное, самое страшное это минометы, мины. Это я потом узнал, что это действительно так. Ууууууууу! Это самое – звуковое, шумовое сопровождение. Вот тогда миной его и контузило, и он – слава Богу, что он туда попал. А все эти три брата моего [отца], мои родные и неродные дядьки, все погибли. И мы много лет разыскивали их могилы, двоих нашли, а троих нет. Этих не нашли.

И вот начался период реабилитации, и Нина как единственная законная родственница вот этого Юры, этого самого поэта – вот я забыл, у него простая фамилия была, – была вызвана туда для ознакомления с делом. Оно было небольшим делом. Просто ей его дали, ничего не думая, и сказали: вы посмотрите, и там распишитесь. И она ушла оттуда совершенно убитая. И это укоротило ей жизнь очень скоро. Потому что там было приложено, в этом деле, письмо-заявление, подписанное Ниной Зозулей, о том, что он занимался антисоветскими разговорами. Почерк был довольно хорошо подделан. То есть, последнее, что он узнал перед смертью, - что его предала его любимая жена. Нинка. Тогда – это [есть] у Солженицына, это его рассказ, что в начале НКВДшники были «эстеты». Потом стали эти самые – мясорубы, мясорубка потом стала. А тут кто-то значит вот так [поиграл]. И это одно из самых страшных таких событий – там все страшно, но это такая маленькая подробность, которую я не могу спокойно даже сейчас говорить. После этого она… Ну как это можно, вообще как это можно было ей это дать, с другой стороны? – А, это плевать. Вы только распишитесь, что вы там прочитали.

С. А может быть, они думали, те, кто давал, что это действительно так?

Г. Да нет, они там все понимали. Да, ну, конечно, все понимали.

С. В каком году?

Г. Да я уж забыл, какой это год. Но вот когда она там…

С. Но это тогда еще, сразу, [когда только начались реабилитации]?

Г. Не сразу, нет, совсем не сразу, это было довольно еще долгое время. Там ничего кроме «ее» доноса не было вообще. Ничего не было. Кроме «ее» доноса – так называемого «ее». И она начала жить с этим сознанием и долго не протянула. А когда она ушла, и Иосиф долго не протянул – он такой закрытый человек, он был очень любезный, очень живой, он [был] как бригадир таких ребят-архитекторов. (Это было время, самое страшное для архитекторов, они ничего делать не могли после войны. «Бумажная архитектура»… Но они как-то что-то делали, у них была бригада. Я приходил, видел их [проекты], лихие ребята совершенно, по-видимому, очень талантливые). Ну он тоже был… Я помню, присутствовал на [его] похоронах в этом самом… в МОСХе, это Союз художников, он был его членом. Потому что – никого нет [из родственников с нашей стороны], вообще никого нет! Есть я, и [больше] никто его не знает; сын там стоял, который потом уехал. [Они были] очень молодые – они еще не старые люди, гораздо моложе, чем я сегодня. Гораздо моложе, чем я сегодня. И вообще, полные жизненных сил совершенно. И пришедшие, чтобы прожить свою жизнь. Значит, убили одного, и с помощью этого убийства убили ее, то есть, это тройное убийство: Юра, Нинка и Иосиф, ее муж. Триста процентов значит. Как это называется? Коэффициент полезного действия – триста процентов. Это было выполнено хорошо – тройное попадание. Трехсотпроцентное – трехкратное. Ну вот.

Когда мы говорим: репрессии страшные – действительно это все страшно. Но самое страшное это отдельные индивидуальные судьбы!

С. Да.

Г. Это страшнее всего этого потока, всего этого, что мы называем «репрессиями». Каждая индивидуальная судьба страшна и каждая судьба должна воздаться, но не воздается совершенно никому - тем, кто это сделал. Эти люди, которые подделали почерк, они сами, конечно, получили – через год их не стало, разумеется. Которые допрашивали, они все [попали туда же] – там была смена, очень быстрая такая, и потом уже вообще, потом уже, насколько я понимаю, перед самой войной вообще это никого не заботило, есть ли там или нет какое-то …

С. Какое-то заявление?

Г. Есть ли какое-то… Да, Господи, это…

С. А это какой год?

Г. Не помню!

С.Ну примерно…

Г. Тридцать восьмой….

С.Тридцать восьмой…

Г. Тридцать восьмой, тридцать… ну, пик ежовщины, пик. А потом вместе с Ежовым ушли вот эти «эстеты», а появились бериевские, палачи совершеннейшие, костоломы, как их называл Солженицын. Это уже такие – совершенно дикие. Но это был постоянный набор из комсомола, он, как и комсомол, менялся… оттуда же туда приходили. В начале были какие-то полные идеалисты, люди, очень увлекавшиеся и тем, что они при власти, что они наделены особенными полномочиями. Это была романтика в свое время – даже если сажать кого-то. У них тайная жизнь, ночные поездки, ночные посадки. Ночные допросы. А потом они просто уже начали… Палачи и садисты были не сразу, а сразу были такие вымогатели, действительно, играли в игру некоторую. Ну да, «эстеты», как их назвал Солженицын. И Нина пала жертвой вот этого «эстетства». То есть, даже не столько Нина, сколько вот этот Юра. Юру я один или пару раз видел, но поскольку я Нину обожал страшно, то значит, я относился с большим пиететом ко всем ее трем мужьям. Из них, значит, нет ни первого, ни Заходера – его тоже давно нет, а жена его – это нинкина приятельница. Вот так как-то они разошлись, не рассорившись, без всяких ссор, обид … Но там вообще была – как бы сказать? дополнительное отягчающее обстоятельство, эта их легкость прирожденная. Они все были .

И вот такая у них биография, легких людей судьба все время наказывает особенно жестоко. Потому что у них нет способности долгого внутреннего сопротивления. Потому что тяжелые люди – у них есть что-то такое, какой-то свинец тут вот, как у куклы, чтобы они не падали. А легкие – они как-то сразу… Такие вещи как развод, переход к другому, это вообще легко – поскольку она парижаночка была, она – раз! [И готово.] Спокойно к этому относилась. И встречались – я бывал на днях рождений и все там они собирались совершенно… целовались… абсолютно [легко]. Иосиф это все [спокойно принимал]. Я не знаю, что он думал, он был неразговорчивый человек, потому что эти-то все говоруны были – естественно, шум: шум, остроты там, всегда писались поздравления в стихах – ну, обычные все эти шутки. Шошенский!– вот его фамилия, я вспомнил.

С. Как?

Г. Иосиф Шошенский,

С. Шошенский.

Г. Шошенский. Интересно, есть ли он в интернете, осталось ли… Он одну вещь сделал замечательную – это вот этот [павильон на ВДНХ, о котором я говорил]. Действительно, он резко выделялся, там же все было очень, так сказать, под стили этих республик, да, а это была – как бы павильон в стиле сделан, а ля какого-то технического прогресса будущего, все-таки [павильон] радиоэлектроники, он так назывался[[1]](#footnote-1). Которая только входила в нашу жизнь. Он был строгий по сути, совершенно никаких там узбекских, ни киргизских мотивов, никаких там коров, телят, телятниц и коровниц – никого не было, а это было как бы здание для инженеров и для конструкторов. Да еще и космоса тоже не было. Это все делалось до войны, надо сказать.

С. Здорово.

Г. Да. До войны, к открытию. Там, кстати говоря, когда мама ушла со всех [работ и стала работать там, на ВДНХ], там все заработали, все. Мама тоже была [там], корректор она была, они там перед войной [все] были и очень здорово все заработали.

С. А, это именно там?

Г. Полгода была отчаянная работа, днем и ночью, но дикие заработки. Она в качестве корректора работала, она там стала корректором. Потом она стала «Энциклопедии» работать, а тогда она стала вдруг корректором – неожиданно, я даже не понимаю, как это произошло, но это случилось. Она никогда этому, наверное, не [обучалась]…

С. Она журналисткой была?

Г. Она – нет, она вообще никем… сначала она была пианисткой.

С. Она была пианисткой?

Г. Сначала да. Потом она почему-то… ну, она легкомысленная была женщина. Потом она работала с каким-то химическим производством на немецком авиационном заводе. А тогда были у нас – теперь это просто Москва, а тогда было еще Подмосковье, – на немецком заводе, авиационном заводе на каком-то. Кем, что там она делала, я не знаю. Недалеко как раз от нашего центра, [от Смоленской], где мы жили. Немцы по закону по своему – по Версальскому договору, военное [у себя] не могли строить, и они строили у нас, там, в Москве. Все наши авиазаводы построены немцами, между прочим: немцами. И все наши первые разработки – консенсусные, тоже и «Мессершмиты» помогали, - ну, сейчас уже все знают об этом, даже пишут. А потом мама каким-то образом [стала корректором] - просто потому, что гимназии они все кончали, одесскую она кончила гимназию, и это значило, что она правильно писала по-русски. Вот и все. Абсолютно! То есть, ничего другого, – но это была гимназия. Она правильно знала, что такое русский язык, поэтому она стала этим [корректором] и работала там – и никаких никогда [проблем не бывало], она работала до конца своей жизни – и никаких недоразумений. Она работала уже в издательстве Академии Наук, где и я сам работал, и там она была в почете как очень опытный человек, который знает лучше, чем кто бы то ни было, как по-русски надо писать. Вот. Это было такое.

А там какое-то было – вот когда вдруг деньги полились – не воровали, вот нет! – в отличие от нынешнего времени: не то что там приписки какие-нибудь – просто были установлены огромные гонорары, зарплаты феноменальные, зарплата у нее была какая-то [неправдоподобная] – по тем временам. Честно все. Ну, потому что это была ударная стройка так называемая. Надо было знать, для кого это строилось – для Сталина, идея от Сталина исходившая – ВДНХ называлась выставка, Выставка достижений народного хозяйства. Ему надо было доказать, и себе самому, эту вещь, что он колхозами не разрушил, не уничтожил все это сельское хозяйство, а наоборот, он его поднял. Для чего эта выставка: это ж для него делалось, не для нас! Но и для тех, кто туда [приходил]: [она должна была показать], что наше сельское хозяйство на высоте, на таком необыкновенном подъеме… Потому что, конечно, он знал, что такое 29-й год – и вот надо было показать, что в 20-е, в этом 29-й году, колхозное движение привело к расцвету сельского хозяйства. А при чем тут павильон радиоэлектроники – это все будущее, это вообще никакого отношения к советскому строительству не имело. Поэтому он такой красивый – я не знаю, что от него осталось. Ну вот. Да и поскольку это надо было сделать, это шло оттуда (*показывает наверх*), денег там никто не считал и никто их тогда не воровал, просто как бы это нормальная логика: если там ночные работы, если там в совершенно неурочное, то есть, в нерабочее время, они сидели с утра и до ночи, гнали все эти буклеты, ну, все, что надо было делать, буклеты обычно, то надо это оплачивать, чтобы хорошо работали. Как-то Сталин это понимал. И не только Сталин, все они понимали, что это единственный стимул, не борьба за коммунизм, а хорошая зарплата. Зарплата была действительно хорошая, которая и спасла нас, [нашу семью], потому что папина зарплата резко понизилась, он был журналистом и – счастье это или не счастье, но он не был членом партии. То есть, в свое время он был меньшевиком, как от меня это когда-то скрывали, и потом скрывали.

С. И смогли скрыть.

Г.Смогли, да, меньшевиком, да. Поэтому он же в ссылке был, когда был молодым человеком, в Вятке в те годы, то есть в Кирове. Был в ссылке.

С. Ну расскажите, пожалуйста, про это чуть-чуть подробнее, что знаете.

Г. Ну значит…

С. Когда, в каком году он родился?

Г. В 88-м.

С. В 88-м.

Г. Надо посчитать, сколько ему сейчас… двенадцать и тринадцать – значит, 125 лет ему сейчас.

С. Боже мой! 125!

Г. Сейчас вот ему исполнится 125 лет. 22 числа, 22 января[[2]](#footnote-2). Ах, это будет уже… 12 и 13 – да, 125.

С. 125! Значит….

Г. Ну. А мне – я родился, когда ему было около сорока лет. Он с детства ушел из дома, из своей семьи…

С. В Одессе.

Г. Из этой семьи, этих самых – фамилия…

С. Федермеер.

Г. Да, отец был Федермеер, знаменитый на всю Одессу зубной врач, с немецким образованием, лечивший бесплатно бедных людей, а богатых за хорошие деньги, имевший дом, имевший охранную грамоту, подписанную Лениным непосредственно. Чтобы его дома не касались, - это бывает. Не то чтобы Ленин сам, но Ленин заготовил такие охранные грамоты, и местные власти, кому они хотели, тому и выдавали. Не то, что Ленин знал, что какому-то там врачу – нет. Но это была охранная грамота именно исходя из его заслуг перед – как бы сказать? – народом. Потому что он был народный врач, хотя с хорошим, по-видимому, образованием. И с чудачествами – это известно.

С. Зубной врач.

Г. Да, конечно! Когда он [говорил:] «открой рот», - [сам в это время] садился за рояль и начинал играть (*смеются*) .

С. Все сидели – с открытыми ртами?!

Г. С открытыми! «Только держи рот открытым!» - он на «ты» был со всеми, - и садился за рояль…

С. Ну там же должна пломба высохнуть, действительно держать рот открытым надо!

Г. Нет, он с того начинал, что это говорил! А потом подошел и – раз! выдирал зубы таким образом, в самый неподходящий момент, когда никто не думал, что это может быть!

С. Вскочив от рояля?

Г. Да! Ррраз – просто так чуть-чуть вставал. Он вообще – нет, у него идея была заговаривать… тогда же не было никаких особенных болеутоляющих. Заговаривать людей идея была. Совершенно еврейская такая мудрость.

И были, значит, [у него дети]: папа, старший брат, который, как ни странно, уцелел в Румынии – совершенно загадочная вещь! Другой брат, который был директором пожарной команды под Москвой, мы туда ездили, я помню. На меня это произвело [огромное впечатление]– я был мальчиком….

С. Расскажите, пожалуйста, про пожарную команду!

Г. Я только помню, какое впечатление: каланча! И он – директор! И он нас принимает! Всех своих вывел, они вышли… Пожарные, настоящие пожарные! в каком-то подмосковном городе, не помню в каком, в таком хорошем городе. Но не Москва. Они все были в форме, они все…

С. В шлемах?

Г. Они все были так красиво одеты, он всех их выводил, потому что знакомые не часто бывали там вообще. И эта пожарная команда произвела на меня впечатление такой элиты человечества… Потом он как-то сгинул совершенно…

С. Это второй брат, это второй дядя?

Г.Это даже третий, младший брат отца. Старший исчез, уехал в Румынию – и спасся там! Если бы он остался… Он там был бизнесменом каким-то… Если бы он остался в Одессе, он был бы уничтожен. А там наоборот… И потом его дочь, моя двоюродная сестра, лет 20 назад меня нашла и приезжала ко мне.

С. Она в Румынии живет?

Г. Она по-прежнему живет в Румынии, говорит по-русски совершенно свободно. Только такая полноватая, уже немолодая, но, по-видимому, была довольно хороша собой в молодые год ы. Но как-то у нас контакта особенного не возникло.

А отец просто ушел из семьи, ушел, примкнул к каким-то меньшевистским [группам], и тут же все понял совершенно. Но тогда были времена не [такие страшные]: его просто выслали – и все.

С. В Вятку.

Г. Да. Он поучился что-то и не доучился. Он учился в каком-то, я помню, институте, но его оттуда… И там тоже все было как-то очень… такая живая жизнь – эти губернские города, они были не то что сейчас, они не умирали, они, наоборот, поднимались. Губернская Россия… У них была своя жизнь. Это я же, по-моему, рассказывал, я недавно услышал эту историю, правда, как секретарь обкома Тульской области вел…

С. Это что такое?

Г. …вел инструктаж со своими инструкторами…

С. Это откуда информация? Что за история?

Г. Это я прочитал, это действительно, это не анекдот, это факт! Это о расцвете советской культуры лекция. Что «до революции у нас же было всего два писателя, Толстой и Тургенев, в нашей Тульской губернии, а сейчас не то 30, не то 40!» (*смеются*). Эти сидят, все записывают… Так тогда губернские города росли, действительно, у них собственное было свое лицо. Нрзб 28:35

Потом он опять вернулся в Одессу, и тут они [с моей мамой] повстречались опять, но в дом не заходили. А дом был богатый…

С. Это с кем повстречались?

Г. С моей мамой. Она была его на 10 лет моложе. А она училась в Консерватории, она же еще помимо всего прочего, пианистка. Вместе там была, вместе со своей подружкой, которая стала педагогом, уже много лет спустя, приезжала к нам, и встречалась с мамой… Да, и потом мама хотела, чтобы еще я учился музыке: наняли мне какого-то педагога, но мне не понравилось, как он меня [муштровал]… Так что я музыкантом не стал – два занятия было, и все кончилось.

Так вот, папа ушел [от своих родителей] – и все, больше семьи [не было]. А дальше было – я рассказывал про этот классический приезд в 35-м году деда с бабкой, первый и последний, когда я их один раз видел в своей жизни.

С. Расскажите, пожалуйста. В 35-м году в Москву?

Г. В 35-м году в Москву, да. Приехал дед… у меня даже есть фотография где-то, то есть, была во всяком случае. Они очень добропорядочные такие два старых человека, моего возраста.

С. Вашего нынешнего?

Г. Да, нынешнего, да. И, значит, приехали к нам, вошли в нашу коммунальную квартиру – я это очень хорошо помню: выражение их глаз, совершенно ошалевшее, и мысль, которую я теперь знаю, потом вернее узнал, поскольку потом это рассказывали… Мысль была такая – там было две комнаты и даже третья, где тетка жила, но все-таки там еще 20 человек [чужих] было, и вот этот длинный коридор… «И это – ради этого [вы] делали эту революцию?!!! ради этого столько положили людей? Ради этого вы разрушили Россию?!!» - вот что читалось на его изумленном лице!

С. А он продолжал в 35-м году жить в Одессе в своем доме?

Г. Да! Дом был – дом не тронули. Там охранная грамота, подписанная рукой Ленина! Охранная грамота!

С. Ах, так он продолжал жить в своем доме! А насколько большой дом был?

Г. Большой, по-видимому. Сейчас его нет. Я там его искал, когда был – нет, он исчез – во время как раз… Досадно, это был единственный дом, который исчез. Это был его собственный дом – дом Федермеера[[3]](#footnote-3), вот и все. Значит, «И это…» И он мне сунул – я помню, что плитку шоколада, я никогда не… [это был] первый раз, когда я увидел эту плитку шоколада, и серебряную фольгу, которую я собирал потом…

С. А не было фольги? На московском шоколаде не было фольги?

Г. Не было шоколада!

С. А, не было шоколада?

Г. У меня не было шоколада.

С. Как, в 35-м году не было шоколада?

Г. У меня не было! Не было денег на шоколад.

С. Не было денег на шоколад? А как же ВДНХ?

Г. Это 40-й год.

С. А, это 40-й год!

Г. 40-й.

С. А, и тогда появился шоколад!

Г. Ну да, но это была первая плитка, которую я увидел. Он мне ее дал, он очень поражен был моей реакцией. Ну, вот, они смотрели, потом меня попросили выйти, начался там крик! Мужской; женщины молчали.

С. А, мужчины кричали, а женщины молчали!

Г. Кричали! И они ушли, так примирения и не произошло. Больше они никогда не встречались, никаких писем не было.

С. И не встречались, и не переписывались?

Г. Не переписывались. Никогда. И потом я узнал, что они зверски были замучены, сразу, в первые дни.

С. Оккупации румынской…

Г. Потому что он… Как это ни удивительно, у него был диплом немецкого университета, берлинского – не какого-нибудь! Диплом. Там же врачебные были отделения [в университетах] у них, в Германии, в те годы. Он висел даже [на стене, тоже] как охранная грамота. Когда немцы приходили, в первое время это иногда спасало людей. Но ненадолго.

С. У них закон был, да?

Г. Да. Это…

С. Что евреи – выпускники немецких университетов…

Г. …не подчиняются этому закону, вот этому решению – «окончательному решению» [еврейского вопроса].

С. Но в Одессу пришли румыны.

Г. Во-первых, пришли румыны, две недели им дано было на разграбление. Потом дом, конечно, был богатый, и черт его знает, что там было – я не знаю и боюсь даже узнать. А может быть напрасно – надо узнавать. Наверное, там же есть старожилы – то есть, люди, которые этим занимаются – он же был, повторяю, почетным гражданином, почетным человеком городским. А сейчас единственное, что я там узнал, и все я собираюсь, наконец – фирма там, «Аптека Гаевского», я же – это же фамилия моя, я хотел как-то – вот если бы я туда пришел…

С. Он сгорел, этот дом, недавно [где аптека Гаевского]…

Г. Нет, этот дом…и «Аптека Гаевского» - никакого отношения, но я хотел туда прийти и представиться – здрасте, я вот Вадим Моисеевич Гаевский, я из Москвы. Представляю, какой эффект будет! (*смеется*). Дайте мне цитрамон. Показал бы визитную карточку! А там написано, что я там - РГГУ, профессор. Единственное – я их никогда с собой не несу…

С. Так, а фамилия откуда?

Г. Федермеер?

С. Нет, [Гаевский].

Г. Папа взял, чтоб [никакой связи с семьей не оставалось].

С. А, то есть, взял он…

Г. Но тогда еврейских фамилий вообще не стеснялись, наоборот, они давали открытый [ход]. Он не хотел с родителями со своими иметь ничего [общего]!

С. А история с псевдонимом неизвестна, не помните ее? Почему Гаевский?

Г. Гаевский – это Гай, нет, это польская, вообще говоря, фамилия, здесь что-то мне объясняли, я забыл. Тоже чья-то там. Но он начинал [со ссылки], после этого вернулся, слава Богу, не был членом партии, поэтому не был и репрессирован.

С. Отец? Не был членом партии меньшевиков?

Г. Нет, меньшевиком как-то до революции он был, но после революции это не обсуждалось дальше.

Дальше еще есть такая легенда в нашей семье, правда, как говорят, она абсолютно неправдоподобная, апокриф такой, но мне хочется, ввиду того, что это такой приятный апокриф… Дело в том, что они все, в то время, как началась Гражданская война, и вся это компания – а они были очень дружны между собой…

С. А они были в Киеве тогда?

Г. Они были в Киеве, да.

С. А как они [там оказались]?

Г. Ну, как-то… Потому что Одесса тоже подчинялась черт его знает кому, и бандам… и оттуда они решили в Киев – почему-то Киев, – и оказались все в Киеве.

С. А, то есть, они оказались в Киеве уже во время Гражданской войны?

Г. Ну да-да-да, или там спасаясь от бандитов…

С. А все – кто: папа, мама …

Г. Нет, вот вся эта компания: вот Кольцов, который был как бы заводила и главный вождь, вот эта тетя Сима с еще не родившейся дочкой Нинкой…

С. Тетя Сима – это мама Нины?

Г. Это сестра… Да, мама Нины, мама Нины.

С. Сестра папы, мама Нины.

Г. Да, это вот сестра моего отца. Вообще все эти люди, которые все ушли из семьи – из своей семьи, из богатых своих семей. А дед и бабка остались, так же, как и мамины. А у мамы, – да, действительно, выяснилось недавно, потому что я же совершенно вообще ничего не знал [о маминой семье], мама никогда ничего не рассказывала, - что бабка моя по маминой линии – итальянка! Я рассказывал тебе?

С. Да-да-да.

Г. В общем, какая-никакая четверть крови у меня – итальянская кровь! Она певица была, он работала…

С. В Одесском оперном театре…

Г. В качестве, может быть, [хоровой артистки]…

С. В хоре, не солистка?

Г. Не знаю. Никто не знает.

С. А фамилия известна?

Г. Нет. Вот нет, не знаю. Все это пропало. Мне никогда ничего не говорилось – они [родители] тоже не любили вспоминать свою молодость – своих родителей, [как и я]. Вот чувство, конечно, вины, у всех: как у меня по отношению к ним, так и у них по отношению к своим. Но я хоть [со своими родителями всегда] жил, [до самой их смерти] …

С. Значит, это мамины. А Федермеер – это папин отец.

Г. Папин, а мама – Померанц.

С. Померанц. А итальянская бабка – чья? Мамина бабка или мамина мама?

Г. Мамина.

С. Мамина мама.

Г. Моя бабка.

С. То есть мама – наполовину итальянка.

Г. [Итальянка – моя бабка], которую я вообще никогда не видел, никогда не слышал, дома об этом никогда не говорилось. Кстати, разговоры были только на русском языке, дома не говорили на еврейском и, по-моему, плохо его знали. Это странно сказать, но я никогда не слышал еврейской речи. Абсолютно никогда. Поэтому я и не знаю идиша. Они говорили на чистом русском языке, на чистом русском, как все, кончившие одесскую гимназию – а это много чего стоит! – и мама поэтому и стала таким первоклассным корректором.

Значит, папа сначала вернулся и быстро …

Да, так они оказались в Киеве…

С. В Киеве!

Г. Потом, когда пришли сюда, в Киев…ну, это булгаковская история, когда пришли туда эти самые, резать всех евреев…

С. Петлюра?

Г. Петлюра, да, и вот Кольцов сказал, что едем обратно в Одессу, потому что страшно; раздобыли вагон, который они запломбировали, и вагон поехал…

С. Подождите, эта история требует уточнения. Значит, они в Одессу, да?

Г. Они отправились назад в Одессу.

С. Они раздобыли вагон… Сколько их было человек там?

Г. Ну, их было… довольно много, человек 15.

С. Человек 15 журналистов, да?

Г. Нет, пока еще они были никто, [они еще не были журналистами].

С. И Кольцов еще тоже не был журналистом? Просто компания друзей?

Г. Пока еще просто компания молодых людей, молодых авантюристов…

С. Хорошо, но папе уже было 30 лет в тот момент!

Г. Да! Но что-то он там делал, я забыл, он никогда не говорил, что они делали…

С. А Кольцову еще больше?

Г. Кольцов – нет, это все однолетки.

С. А, все однолетки.

Г. Абсолютно.

С. И вот они раздобыли вагон…

Г. Ну, Кольцов был очень человек авантюрный, и вообще он был очень… так, умел все делать… и он раздобыл вагон.

С. Раздобыли вагон – и велели себя запломбировать?

Г. Да, чтобы никто туда не вошел, и чтоб – хотели с комфортом вернуться в свою Одессу, потому что в этот момент было как-то… не то там белые…

С. Там Деникин был.

Г. Там уже тогда были белые, и это было совершенно безопасно. Вот – между 17-м и 18-м годом.

С. А, тогда еще, конечно, там никакого Деникина не было. Между 17-м и 18-м… нет, это можно посмотреть[[4]](#footnote-4).

Г. Они хотели вернуться к себе домой.

С. Это в тот год, когда Петлюра…

Г. Петлюра когда вошел…

С. Наверное, перед тем, как он вошел? Иначе они не успели бы ничего.

Г. Они решили и поехали в Одессу. Потом, когда вдруг отъехали и начали смотреть…

С. А долго они ехали?

Г. Ну, сколько до Одессы надо ехать, – несколько часов. А потом видят – непохоже на Одессу…

С. Нет, ну не часов же! Они, наверное, все-таки ехали несколько дней!

Г. Непохоже на Одессу! Посмотрели… - Нет, довольно быстро! – посмотрели – но что-то не похоже на украинский ландшафт, что-то не похоже на одесский вокзал… в общем, оказались в Москве.

С. То есть их, этот вагон, не туда прицепили и привезли в Москву!

Г. Такая есть апокрифическая легенда, которая иногда возникала в нашей семье: что так они все попали в Москву. Но не растерялись и быстро нашли своих друзей, потому что Москва была полна одесситов, они тоже были важными людьми.

С. Вместе с Кольцовым?

Г. Да.

С. Так ведь это же можно узнать, наверное: Кольцов человек известный!

Г. Никого не осталось – никого! Все были перебиты – никого не осталось. И потом, это нельзя об этом говорить – получается, что героический Кольцов, первый журналист… Он был действительно первый журналист в стране, считался первым. Писал такие замечательные фельетоны, совершенно, под названием «Скорей, скорей в тюрьму!» «Товарищ начальник Бутырской тюрьмы! когда к вам человек с этой газетой придет, немедленно его принимайте и запирайте…» Значит, там двойное обращение – сначала к герою фельетона: «Возьми этот самый фельетон и езжай сразу немедленно в Бутырку». И обращение к директору Бутырки…

С. Это…

Г. Кольцов, подписано…

С. Это по какому поводу?

Г. Воровства.

С. А, воровство!

Г. «Немедленно принять его и туда…» Да, он писал такие фельетоны. И очень почитал его Сталин, хохотал. Он был веселый человек. А Хемингуэй сказал, что это самый умный человек, которого он встречал в своей жизни, Карков его псевдоним, там даже есть фотография, когда они с Хемингуэем.

С. Так они приехали… ехали в Одессу в пломбированном вагоне, а приехали в Москву!

Г. В Москву. Но не растерялись совершенно! Москва тоже была частью Одессы, в это время, вот в чем дело, то есть, они попали в свое место, только…

С. А в Москве были красные, как известно. А они ехали к белым, а попали к красным…

Г. Но попали тоже в Одессу, потому что такое Одесса: здесь уже была масса одесситов, практически вся одесская литературная [толпа] была уже здесь! 18-й год примерно. И все быстро как-то пристроились. Папа попал в «Комсомольскую правду» журналистом. Это его рассказ, это он мне рассказывал. Он не очень любил все это вспоминать, но рассказал то, что меня поразило: он работал вместе с Аллилуевой. Женой Сталина. И пришла она как-то в редакцию в слезах, и он спросил…

С. Но он не знал еще, что это жена Сталина?

Г. Все знали!

С. А, знали, да?

Г. Ну конечно!

С. А, все знали!

Г. Ну да! В начале так, без всякой охраны вообще.

С. Как, а я думала, что они [только потом узнали, кто она].

Г. Это еще начало самое 20-х годов.

С. А, то есть в то время еще…

Г. Нет, совершенно… Его там сопровождали – ее нет, приезжала она туда на трамвае, приезжала совершенно спокойно. Может быть… А впрочем, не знаю…

С. А когда они поженились-то? это надо посмотреть.

Г. Это когда приехали, в 18 году. А это начало, начало 20-х годов…

С. Нет, нет. Я имею в виду Сталина! То есть, она была уже женой Сталина?

Г. Да, конечно! «Отчего вы в слезах?» [спрашивает ее мой папа]. – И она говорит, что «Понимаете, я не могу этого наблюдать, я не могу этого…» - вообще-то она закрытый была человек, и он не понял, говорит: «Что такое?» – «Знаете, как он будит Васю? Сына, когда он не встает… как Иосиф будит сына? Выстрелом из револьвера! Подходит и над его головой…» А он, говорит, очень с трудом вставал. И он его будил выстрелом из револьвера. Поэтому он стал сумасшедшим, психом, этот Вася. Вот. И он потом пьяницей стал страшным и умер пьяницей в тюрьме. Кстати, уже году в 72-м[[5]](#footnote-5). (\*ок. 45 минуты) И он орал: «Папу отравили, папу отравили – он же кричал тогда, сразу после конца Сталина он появился на даче и орал на всех. Его тут же изолировали для начала. А потом отправили в Горький[[6]](#footnote-6), и он что-то командовал чем-то. В горьковской тюрьме, по-моему, помер. Старший сын помер в фашистской тюрьме, это поразительная вещь, а этот помер в нашей – ну, в больнице тюремной, что-то в этом роде, а дочь совсем недавно, по-видимому, еще жила в приюте. Светлана, любимая дочь, кончила в приюте в этом… Кончила в приюте. Как же я, балда, - я же написал в статье о Юрском, что вот, все ждали, коснется ли его какое-нибудь наказание. Нрзб Нрзб 44:45 Коснулось, еще какое! Через детей.

С. Так может быть, ему до детей особого дела не было?

Г. Через детей! Так вот – справедливость… А со Светланой замечательная история – когда она там была в первый раз, я даже не знаю, у нее ж там было несколько мужей, она уходила…

С. У Светланы?

Г. Да. Сначала здесь был, сначала был друг этот, Синявский. У него эти «Мои письма к другу» это первая книжка писем к нему. Потом был муж – этот самый, Каплер, кинорежиссер и сценарист, который тоже сел, Сталин не позволил этому молодому человеку …45:28Нрзб Нрзб То есть два, и один возлюбленный. Потом был индус, за которого она вышла и поэтому поехала везде там, сбежала, а потом уже американец, к которому она сбежала уже отсюда. И там в доме для престарелых, а она была уже сильно престарелой, она познакомилась с женщиной из России. Дочка Сталина… Чья она была дочка [эта вторая женщина]? – дочка Распутина! Во как! Нрзб Любимая дочка Распутина, единственная любимая у него была.

С. Это вот сейчас уже?

Г. Вот так история играет человеческими судьбами. И они как-то сблизились очень быстро… они однолетки были практически. Или там если не однолетки, но практически возрастная разница… та старше.

С. Ну так, а что было дальше с Надеждой, с Надеждой что было дальше в редакции, что она делала дальше?

Г. Нет, я не знаю, как только, наверное, узнали, что она что-то говорит, ее, убрали, она уже там долго не стала работать. Нет, конечно… тут же, конечно, стукнули, что она там плачет и рассказывает.

С. Так, то есть, папа знал, кто говорил!

Г. Конечно! Все знали.

С. А, все знали…

Г. То есть, почему их не забрали?! Ну тогда еще, в 20-е, не до этого было, была борьба между собой. Было до всего, но не до этого. 47:07

Потом началось папино нисхождение по службе.

До 35-го года в доме было просперити какое-то. Потому что я помню, что две зимы подряд, два, 34-й и 35-й, Новый год у нас встречал Еврейский театр, Михоэлс, Зускин… Зускин, да. Меня будили, и он на коленях [меня держал] и пел песенку. Это я помню. Почему-то была большая дружба совершенно. А потом все это исчезло, потому что там вот… денег не было никаких, очень бедность началась большая.

С. А тогда были пирушки.

Г. А тогда были какие-то пиры по-видимому, и потом были танцульки. С этим… У меня есть замечательная фотография… этот художник…Один из самых лучших наших художников…

С. Фальк?

Г. Нет! Фальк не ходил никогда [на наши пирушки], Фальк с дядькой дружил. Не Фальк, а Осмеркин!

С. Осмеркин!

Г. Она танцует с ним …

С. Мама?

Г. Да, он за ней приударял, по-видимому. Осмеркин был большой мужчина, но… очень элегантен. И преданный своими учениками. Есть даже рассказ, страшный рассказ, как на него – он был такой педагог прирожденный, вот в этом ВХУТЕМАСе, или там где-то. И как на него студенты что-то там написали – ну, когда надо было… и он ушел [из этого места]…

С. В каком году?

Г. Ну, уже 49-й год… В этом страшном году. Как он изображен там … потому что он стал похож на короля Лира, абсолютно. На короля Лира, которого изгоняют из своего [дома]. Один из основателей этого всего ВХУТЕМАСа. И он там с развевающимися [волосами], бросал проклятия… Есть такой рассказ вот, и даже где-то зарисовка. Вот. А [перед войной] - это было веселое время …

С. Это чей рассказ?

Г. Есть такая книга, которая называется «Осмеркин», кто-то из наших и его друзей… [Но у меня] ничего в памяти от них не осталось. И только был шум, крик и все, и только время от времени в дверь стучали, и записочка там вот от соседа – у нас же много соседей было, – школьный преподаватель, совершеннейший…

С. Это мы снова переходим к празднованию Нового года с [актерами Еврейского театра]?

Г. Нет, нет, это когда гостей принимали…

С. Нет? А о чем речь? Сейчас о чем?

Г. Когда вообще были пирушки…

С. А, когда пирушки были!

Г. «Просят не шуметь» - вот такая записка.

С. А, под дверь?

Г. Под дверь. «ПросЯт не шуметь».

С. Соседи по коммуналке.

Г. Да. А тогда было, значит, тогда папа…

С. Вы попейте, пожалуйста, а потом говорите.

Г. Конечно, они оба… то есть, не жалели денег, папа их зарабатывал, а мама их тратила. Только как-то почему-то у нас всегда жили, бесконечно жили - сестра жила, брат был…

С. Чей, чей?

Г. Мамин, мамин. Все у нас как-то… И приезжали, и жили годами, и там даже становились… находили нас…

С. В Денежном переулке.

Г. Да-да, все там же. И Глазовский, на углу Денежного и Глазовского. И когда у папы что-то такое [тревожное] началось, – когда начались посадки, прежде всего, но нас, слава Богу, это не коснулось, а коснулись материальные проблемы. Я помню совершеннейшую [бедность], уж какие там пирушки! Все сразу же отвернулись. Ну и как-то перестали [у нас бывать]. И потом было короткое время материального [благополучия – когда мама работала на ВДНХ]. Но во время войны тут же все погибло, потому что очень ненадолго мы были в Набережных Челнах, и все, что у мамы было – я помню, все отрезы, вот это все – ее часы, все, все уходило на рынок.

С. Все обменяли на продукты во время эвакуации. А эвакуация была сначала в Сызрань, потом в Набережные Челны.

Г. Сначала во Владимир.

С. А, сначала Владимир был еще?

Г. Да, да. Это другая сестра мамина, была тоже вместе с моей двоюродной сестрой.

С. А как вы ехали в эвакуацию, конкретно вы что-нибудь помните? Как в эвакуацию ехали?

Г. Очень хорошо!

С. Подробности какие-то…

Г. Нет, ну это было Министерство легкой промышленности…

С. То есть, от работы всех собирали…

Г. Во главе которого была Жемчужина, жена Молотова, это особая была … Моя тетка там работала юристом.

С. Это которая тетка?

Г. Это другая тетя, младшая сестра, то есть, средняя, средняя сестра.

С. Чья? Мамина?

Г. Мамина.

С. Которая с вами жила, или другая?

Г. Нет. Вернее, когда ее Наташка, ее дочь, выгнала, тогда [тоже] жила. Просто выгнала из дома собственную мать.

С. Это вот в третьей комнате?

Г. Нет, не могу, если вот говорить о моих винах, вот тут у меня вина… Мы ее, конечно, приняли, а как же вообще. Но однажды я услышал, как она разговаривает с Наташкой.

С. Кто? Мама?

Г. Мама ее. И я взбесился!

С. Мама – ваша?

Г. Нет, не мама, а ее – вот она сама, ее мама, с дочкой, которая ее выгнала из дома. «Наташенька. Наташенька…» И что-то я…

С. Это сколько – это который год-то был?

Г. Это уже страшные годы, когда я ничего не делал, когда я сам был…

С. Когда уже был взрослый. Да?

Г. Конечно – уже кончил институт… Я не могу это все слышать, я напустился на нее – Боже мой, Боже... Что это, какой это…

С. Напустился на тетку?

Г. Да я был гадом совершеннейшим! Абсолютным… Это единственное, что у нее было. Ах ты, Господи, ну что со мной делается! Я иногда позволял себе вещи непозволительные! То есть вообще, по существу, я был прав: ну что это такое! Ну как же так, ну это все-таки… Но с другой стороны, как с другой стороны не понять, что это мать – при всем том… Ну выгнала и выгнала! То же самое еще во второй раз…

С. И она жила у вас.

Г. И она позвонила, такая, как ни в чем не бывало…

С. Она позвонила?

Г. Сама, конечно.

С. Наташка?

Г. Наташка тогда уже была совершенно злобная баба … Это подружка моего детства. Мы с ней росли, абсолютно вместе – [она была] как родная сестра, а не двоюродная. Ее-то отец и купил дачу [в Валентиновке], которая предназначалась нам. Мы эту дачу [у них же и] снимали, эту нашу как бы дачу, которая могла быть моей, мамы моей, но мы снимали ее у моего дядьки, мужа ее сестры. Снимали, без денег не пускал нас. Такой аграрий он был, профессор: профессор Батуринский[[7]](#footnote-7). Тогда это значимо было, он всегда, когда уезжал в город, голосовал на дороге и говорил: «Я профессор». И его подвозили. Тогда профессоров было мало.

С. Так, а у него на лбу было написано, что он профессор? Это было видно?

Г. Да!

С. Видно?

Г. Он так говорил, что это было понятно, следовало, что это без дураков! Профессор Батуринский. Никто не проверял: «Садитесь, садитесь, пожалуйста!»

С. То есть, он останавливал машину и говорил, что он профессор Батуринский?

Г. Он говорил: «Здравствуйте, я профессор Батуринский, прошу меня в Москву». Все, пожалуйста!

С. Как, останавливая машину, он говорил: «Я профессор Батуринский?»

Г. Профессор Батуринский, да.

С. А так было принято?

Г. Их тогда было немного…

С. Это когда – перед войной? Когда? я путаюсь…

Г. Перед войной, во время войны не ездили особенно. Перед войной было такое, он все время менял жен, каждые два года приезжал с новой молодой женой. А потом последняя, Анна Ивановна, очень дружившая с моей мамой, бившая его страшно, потому что он впал уже в абсолютное [детство], а он плакал, рассказывал, как она его била. А она говорила: «Да что вы, я его не бью, просто я не могу, это невозможно!» Мы как-то все в идиотском были положении. А Анны Ивановны дочка Марина, моя, значит, кузина. Я уже тебе рассказывал эту историю, моего товарища врача, детского психиатра. Я, по-моему, рассказывал эту историю, да? Такой был у меня одноклассник, Боря Лебедев. Главный детский психоневролог России, очень важный человек. А мы с ним поддерживали дружеские отношения, играли в шахматы. Единственная просьба, никогда не то, что ничего не просить [у него как у врача, но] вообще не говорить о болезнях. Никогда! Он всегда предупреждал. Тем более, что он такой – благороднейший человек, он был знаменит своим бескорыстием. Знаменит совершенно. Приезжали к нему со всей страны. Сам он был на двух протезах, потому что он во время войны как санитар работал, в лазаретах, и один раз не заметил, что поезд на него наехал. Ужасно. Это его и сгубило, потому что он все время был на таблетках, которые он принимал так, с утра, это я видел: рраз – вот все, весь дневной запас сразу. Когда он кончил институт с золотой медалью, его послали на стажировку – да, но это было в Англию, и это, наверное, был первый случай. Он приехал оттуда с дикой ненавистью к советской медицине. «Я тоже ее знаю, но ты понимаешь – как мы лечим! Это ж нельзя!» Тем более, что потом он продолжал читать английские медицинские журналы…

С. Это какой год – вот это все?

Г.Это когда я кончил институт, пятьдесят второй….

С. А он был послан…

Г. Пятьдесят третий, пятьдесят четвертый…

С. То есть, еще до ХХ съезда?

Г. Да. Ну, в это время, когда началось [послабление]… после смерти Сталина, конечно.

С. После 53-го или после 56-го?

Г. Ну, конечно… около 56-го… вот, полгода там провел, совершенно ошалевший от контраста, и потом …

И за всю жизнь только лишь два раза я его просил, чтобы он действительно приехал ко мне кого-то посмотреть, попросил два раза. Он сам на машине ездил, водил, несмотря на свои [протезы]. Однажды он приехал – это дочка-то Танькина, которая сейчас в Израиле живет, вот эта асина как бы ученица – Ася тоже совершенно бескорыстно, но она, конечно, классно это делала. Она не любит, когда я это говорю – она педагог прирожденный, рисованию она учила. Эта Танька тоже преподает там у себя в Израиле рисунок, все это ставила ей Ася. И абсолютно… потому что я даже не понимаю, как она возникла в нашем доме. Никаких денег, там даже близко об этом речи не было. А потом она вышла замуж, родила девочку, которая странно себя вела. Однажды они ее привели ко мне, потому что не кому было оставить, и она крушила все, что только можно, ну все, что только можно в нашей той квартире, все! Я не знал, что делать. Все! Совершенно все слетало, я только собирал… слава Богу, что посуда стеклянная была убрана. Он приехал – говорит: отойди. Я ушел. Он с ней посидел…

С. А, то есть, вы вызвали его сразу, пока еще они сидели?

Г. Я сказал, что специально ее привел на встречу.

С. Ее специально привели? А, ясно.

Г. На встречу, да.

С. Я думала, ее привели посидеть, а вы вызвали…

Г. Нет-нет-нет. А он обладал каким-то даром, значит, сам – я думал, сейчас он ее… а нет, тишина абсолютная, тишина, что-то они там поговорили спокойно… Все, сказал, все, все пройдет плохое… Эта самая Таня пришла, появилась – все спокойно, нормально! Эта девочка сама уже мама, в Израиле, недавно в израильской армии была, сейчас они в Германии, ездят туда-сюда, в общем, все как полагается. Абсолютно. Она такая гордость семейная. Там папа, который тоже вот – русский парень, который уехал и ушел от них, он такой биолог, что он делает в Израиле – непонятно, что он там делает.

И второй из этих двух раз – это когда Марина, дочка вот этого профессора Батуринского и Анны Ивановны, сводная сестра моей Наташки, (потому что Наташка от его первой жены, маминой сестры), а это когда он ушел, бросил их, и потом женился на одной, на второй, а потом на Анне Ивановне, последней уже, и там возникла Марина. Это абсолютная красавица, совершеннейшая, и умница. И пресс-секретарь, секретарь председателя нашего олимпийского комитета, Смирнова. И, по-видимому главный там человек, потому что он дурень такой, абсолютно темный человек, а она переводчица постоянная. и, по-видимому, там было не только это, потому что он такой видный мужчина, он ее возил по всему миру, она очень известна была во всем мире – в этом, олимпийском мире, пока он был председателем. А сама она была замужем за неудачником художником. Абсолютный этот самый Карандышев, который ее дико ревновал, но она зарабатывала деньги, там привозила, а он ничего не мог. Нрзб [И он уговорил ее уехать]. Главные связи были у нас с Канадой, потому что канадцы – у нас такие почти личные отношения со всеми. «Поедем туда, поедем туда», и он велел ей уйти с работы, от этого Смирнова, который не ее хотел отпускать – сейчас он уже не председатель – он там почетный председатель, это очень большая персона, особенно сейчас перед Сочи. «Поедем в Канаду, тебя там все знают, все любят, вот я там может быть…» И она как-то сдалась и уехала. И исчезло все: как только те узнали – это бизнес! - что она уже никто, что она уже… интерес к ней пропал, Где она, что она, я не могу ни у кого [узнать], хотя там асина племянница…

С. Я путаюсь в годах – это что за время?

Г. Это время лет тому 15 назад, потом она уехала. И непонятно куда – я знаю ее фамилию, но не знаю, куда она делась – совершенно.

А тогда она родила свою дочку – и медленное развитие, медленное, никакого движения, она не говорит… Я говорю: «Боря, поехали – вот такое случилось». «Ну ладно, поедем, поедем…» Приехали. И как увидел он Марину, ты знаешь, я первый раз увидел, чтобы – как называется? – клятва…

С. Гиппократа?

Г. …так нарушалась. Он начал ей говорить, что здесь необходимо постоянное наблюдение врача, не меньше, чем раз в неделю! «Я – это тот врач, я буду сам приезжать», - начал дурака валять совершенно! (*Смеется)* То есть нарушил все – первый раз я такое видел. Она была хороша! Абсолютно! Он сказал: Марина, это вообще [не страшно], но я должен все-таки этот процесс наблюдать. То есть он не брал денег, но он приезжал раз в неделю. И там никакого романа, естественно, не было – он старый больной человек! – но он хотел ее видеть. И для этого врал, буквально как юноша. Потому что он должен был постоянно [ее видеть]! Какое-то время он с трудом… для него это нагрузка совершеннейшая! Я же видел его, когда он кончает это свое дежурство на работе, чтобы вообще забыть про медицину, забыть про детей! А [дочка Марины] – нет, она была совершенно безобидная девочка, но молчавшая, говорить никак не умела, что страшно пугает всех родителей, по-видимому. Просто ни одного слова, просто молчит. Но это не аутизм, ничего… Он сразу поставил диагноз. Ну вот, и он решил немножечко подыспользовать свои возможности. И потом она уехала, исчезла, и это тоже был некоторый удар, потому что он привык! Он стал своим человеком в семье, такой личный врач, и, по-моему, девочка к нему привыкла! Ну, его тоже давно уже в живых нет… И я пришел на эти [его] похороны, и я потом говорил речь…

Бог ты мой, я помню, как он жил! Совершенно недалеко – если пойти по Денежному переулку туда, до Кропоткинской, туда, подальше, мимо нашего дома[[8]](#footnote-8), туда, туда, вот там, по правой, не доходя, это был предпоследний дом. По-моему, это был дом, который сейчас снесли, там был подвал, в котором они жили, большая семья, в подвале.

С. В подвале?

Г. (*Кивает*)

С. Вот этот… он был главный психоневролог?

Г. Нет, нет, это когда в школе учились!

С. А, когда в школе!

Г. Потом-то он жил на академической квартире, недалеко от его института…

С. А, понятно! Вы говорите, в какое время, потому что…

Г. Нет, во время войны, когда он еще вообще [был никем]. Он жил в подвале, совершенно жутком подвале, в жуткой нищете.

С. А расскажите, какой подвал был!

Г. А это нет, я [никогда там не был]. Я только с улицы мог покричать ему: «Боря, выходи!» А туда он никого не пускал… у него была очень семья [специфическая]. Причем когда я попал на эти самые поминки – вся эта его родня, все смотрели на меня… Я там один еврейский персонаж был. Хотя, вроде, если он врач, то они могли сообразить, что это его среда… А там еще был мой товарищ, Гарик Мерзун, тоже мой одноклассник, мы с ним давно не встречались, наш первый ученик. Он тоже пришел, и мы вдвоем там сидели – два, совершенно как чужие… Они нас приняли, очень любезно, тем более, что с его дочерью у нас были очень хорошие отношения. Дочка-то была сама [нашего круга]. А это такая совершенно [другая среда], все эти семьи очень бедные, очень темные и очень, по-видимому, настроенные недоброжелательно к инородцам, абсолютно антисемитские. И я помню, как я там чувствовал себя… Ну, я все там, что надо было, сказал, тогда я как-то умел говорить без запинок. А потом жалко просто было – это действительно очень близкий человек, очень!

С. А про школу расскажите!

Г. Нас еще объединяло то, что мы страстно [любили футбол]. Такого болельщика «Спартака», [как Боря], я вообще никогда не видел. Что с ним творилось на стадионе, как он кричал!

С. Вы ходили на стадион с ним?

Г. Конечно, ходили!

С. В какое время?

Г. Ну, это сороковые-пятидесятые годы. Вот это время. А в 60-е, когда он был взрослым, когда у него была машина, когда он был профессором, - настоящим он был профессором, не липовым, как я, настоящим профессором! Потом в этом Доме ученых, он там очень почитался. Был чрезвычайно способный, очень благообразный, у него очень благородный [облик], почему в Англии его очень [приняли], абсолютно английское лицо, совершенно благородное, ему можно было в английских фильмах сниматься. Чистое, абсолютно чистое. Таких чистых русских лиц я вообще уже давно нигде не видел, все совсем другие. Вот что-то сохранилось там. И это да, и это ему давало то, чего лишено его поколение…

А в школе – лучше не вспоминать. Я тоже иногда вспоминаю, как я хулиганил…

С. Расскажите, это же замечательно!

Г. Нет, не могу, это позор, это позор!

С. Ну, расскажите!

Г. Это позор, это постыдная вещь, как я издевался… ну как я, Боже мой, издевался над… ну что же я, не понимаю, что же я за дефективный человек, откуда это шло…

С. Ну все же в школе дурят, ну что Вы! Нет, ну расскажите, что были за педагоги, что были за ребята, не рассказывайте тогда, а как вы издевались!

Г. Сейчас. Ну, сколько времени там?

[вырезать…..]

Г. Ну, школа… Она была не школа, она была бывшая Медведковская гимназия, она так называется, так вот сейчас там написано, это тоже сейчас гимназия. И там преподавали, главным образом, тоже выпускники этой гимназии. То есть, оттуда! Лучшие самые предметы: по литературе, по географии …

С. То есть, преемственность была.

Г. Еще какая! Приняв, примирившись – так сказать, «мы против властей не бунтуем»! Но по манерам, по манере речи… Литераторша – которая меня, кстати, не любила очень за что-то – спасалась тем, что у нее был [способ], как выходить из положения. У нее был любимый поэт – это был Маяковский, только ранний, который в программу не входил. То есть, не «Ленин», не «Хорошо», а «Облако в штанах» и все такое... И она читала наизусть. Она из тех, из Политехнического, из поклонниц Маяковского. Она знала все замечательно, вообще все. Меня она любила – а меня тогда выгоняли из школы (там начался период моих изгнаний), за единицу – меня очень не любила физичка, а я не очень любил физику, полный болван был, была у меня единица в четверти!

С. А Вас выгоняли и из школы?

Г. Да, и за меня вступалась математичка, за то, что у меня были [способности], я показывал какие-то действительно чудеса. Меня ж даже приезжала комиссия наблюдать. Они это видели, и она, и он – педагог другой.

У нас было 4 ряда по два человека, и всем давали разные варианты задачек, и я решал все варианты, и все это видели, и им даже это нравилось, поскольку я успевал за это время. И я имел за это два завтрака – от класса получал два завтрака! Учитель все это видел, но не прерывал, а с интересом следил. Потом приехала какая-то комиссия, три человека из РОНО, вызвали к доске – действительно пришли меня проверять, показывали какие-то уравнения уже не уровня школы, и я мгновенно их решал. Класс тоже очень болел за меня. Они ко мне относились с некоторой гордостью.

С. Именно с математикой? А куда это потом все делось?

Г. Нет, во-первых, потом мне объяснил какой-то академик, что это вообще все не талант, это способности, а талант – это если бы вы придумали, а не решили, какое-то уравнение, либо придумали бы или какую-то задачу. А решить… А я знал, как: у меня была система, очень простая. Я сразу… метод работы как у кибернетической машины какой-то, у меня было несколько способов, я знал сразу, что все задачи сводятся к каким-то определенным типам решения, и я мог сразу понять, какое тут решение. Это я сам находил, нигде этого не читал. Я знал, что вот эта задача очень быстро решается, вот так-то и так-то. То есть, наоборот, не эмпирически – я знал примерно, сам придумывал: я знал, что существуют методы какие-то. У меня аналитический ум был какой-то, и я был премирован на олимпиаде – на одной, на районной, и, хотя потом провалился на городской, но эта первая премия давала мне даже право поступать в МГУ без экзаменов – на математику…

С. А, то есть, победа на олимпиаде давала право…

Г. А по литературе я писал дикие… почему она мне и разорвала… Я писал на диком языке эти сочинения, дикие совершенно! Просто я не владел русским языком! То есть, я грамотно писал, но совершенно жуткие [тексты]…

С. А как же все…

Г. Не знаю, как.

С. Жуткие сочинения писал?

Г. Жуткие! Совершенно жуткие. У меня был другой дар, который тоже потом исчез абсолютно… (то есть, наоборот, тут-то появился – способность к писанию), а исчезло то, чем я прямо славился, и о чем меня просили: я мог бесконечно говорить, отвечать о том, о чем ничего не знал. Меня вызывали, и я мог спокойно говорить сорок пять минут, и надо сказать, по делу: никакого вздора. Потом я потерял этот дар: у меня при публичных выступлениях появляется какая-то патология, я начинаю нервничать, забываю слова. А тогда этого не было.

А педагоги были замечательные.

Закон был такой, особенно на географии: просить разрешения, чтобы тебя не спрашивали, надо было заранее, до появления учителя в классе. И нас всегда полкласса выстраивалось… Он говорил: «Да, да, да», - записал, значит, можно было сидеть спокойно. А те, кто не попросил…

С. То есть, так можно было отпроситься?

Г. Отпроситься, да, я забыл, как это слово называется, техническое словцо. И была математичка, так что я думал, я вообще-то готовился на математическое, и потом когда я много лет спустя математичку встретил, в доме отдыха (Медынского она, по-моему, жена была, она, по-моему, мать одного из нынешних негодяев, жена писателя Медынского), она так горевала – что ж вы так бросили это дело, вы такой способный… Действительно, какие-то способности были, но не большие такие, хотя яркие, потому что действительно приезжали смотреть. Это как цирковой [фокус]… Памяти никакой, но речь шла не о памяти, а просто о систематизации какой-то мгновенной.

С. А как возникло…

Г. При этом я помню, что у меня, когда я видел задачу, что-то здесь загоралось, что-то загоралось сразу (*показывает на грудь*).

С. Здесь? А как возникло театроведение?

Г. Я, значит, пошел….во-первых, я пошел…

С. То есть, вы закончили школу с желанием заниматься математикой.

Г. И я, значит, пошел значит на первую встречу, на «открытые двери» в МГУ, на физмат. Первая встреча с нами, с будущими студентами – и увидел себя в недалеком будущем. А меня туда привела другая абитуриентка: там была Женя, которая из другой школы тоже туда шла. Мне она безумно нравилась, больше, чем кто бы то ни было. И я думал, что вот я попаду туда, и мы как-то с ней [познакомимся]. То есть, мы чуть-чуть были знакомы, но не более того. И шел я, собственно [из-за Жени], но увидел этих бородатых студентов. А я уже был театралом таким, заядлым. А они совершенно какие-то – с фанатичными глазами. [Я подумал]: неужели это я сам стану таким? А потом я узнал судьбу Жени – и это была бы и моя судьба. По-видимому, Женя была еврейского происхождения, судя по тому, что она страшно мне нравилась. Она попала в школьные учительницы и, по-видимому, там и кончила свою жизнь. И это – не «Сельская учительница» Веры Петровны Марецкой, любимый мой фильм тогда.

И я сказал: «Нет, только не сюда!» А куда – не знаю, только не сюда. Тут дремучие люди какие-то, лишенные юмора…

С. Математики – дремучие люди, лишенные юмора?

Г. Это не физики! Это не физики! Физики – это физики, это совершенно другое. А это математики. Ну, это Перельман, поглощенный своими задачами. То есть, поглощенные – они только говорили о формулах, ничего живого в них не было. Это не физики, физики совершенно другие люди. А мой одноклассник Никита Санников, с которым я дружил все эти последние годы, сказал (поскольку я тогда был вообще-то гуляка – это сейчас я боюсь время терять, а тогда я был гуляка): «Проводи меня, я поступаю в ГИТИС». Я говорю: «А что такое ГИТИС?» «А это есть такой театральный институт» – «А ты что, актер будешь?» - «Не актер, театровед».- «Ну, пойдем», - я сказал, - «Пойдем» - « А почему ты туда пойдешь?» - «А у меня замдиректора там».

С. Кто, кто замдиректора?

Г. Алперс, Борис Владимирович. «А это мой, - говорит, - как бы приемный отец. Отец мой на фронте исчез, а я под опекой Бориса Владимировича. И он мне, значит, сказал: ты только подай документы, и там все будет в порядке». Я говорю – пойдем. И все, никакого интереса: ну, пойдем, чтоб пойти. А тогда консультация там была – в палисадничке перед оградой.

С. Консультация? Во дворе?

Г. Да, во дворе.

С. Как во дворе консультация? Столы стояли?

Г. Перед приемом.

С. Столы стояли просто? Или что там – как, сидели? Как это было?

Г. Сидели. Там скамеечки, там и сейчас такие скамеечки стоят.

С. Там просто на скамеечке сидели?

Г. На стуле сидела, Роза Яковлевна такая, легендарная, замдекана …

С. Прямо во дворике?

Г. Во дворике. И я как увидел двух красоток – Наташка, с которой мы сейчас расстались, вот недавно… ее… Наташка.

С. Какая?

Г. Наташка Лозинская. Ну, моя сокурсница. А Валя, ее подружка, спилась и давно ушла из жизни. , лет 15, оставив сына.

И потом, когда я услышал самого себя и увидел, что я вызываю интерес, я сказал: нет! а Никита мой как-то так присмирел, и как-то я…

С. А Мотя[[9]](#footnote-9)?

Г. А Мотя… какой-то странный человек, который задавал мне такие вопросы какие-то – очень дружелюбный, очень…

С. То есть, подошел какой-то странный человек…

Г. Ну, подошел…

С. А с кем говорили?

Г. Обо всем!

С. Нет, с кем? Кто говорил – Роза Яковлевна?

Г. «Какие твои любимые писатели»? Я сказал…

С. Кому сказал?

Г. «Анатоль Франс». – «О-о-ооооо!» И страшно я заинтересовал вот этого загадочного человека. «А что вы читали? А, понятно!» Не выдавая своей насмешливой природы совершенно, а оказалось потом, что они хохотали надо мной! Потом он это мне рассказывал. Самовлюбленный дурачок, пришел! Ну, все, я сказал, отсюда – нет, [никуда не уйду] – когда я вспомнил бородатых этих своих математиков – и двух красоток совершенных, одна другой лучше! Нрзб 31:40 одна чисто русская, а вторая не совсем, – чуть-чуть еврейское в ней что-то – как, кстати, у молодой Аси, они чем-то – нет, не похожи, но вот этот тип, когда еврейское почти не выявлено, но есть какое-то – так, остренько. Это Наташка Лозинская. Ну, значит, я еще раз пришел, еще раз, а потом начались эти экзамены, где я просто так – причем надо было это все, сначала устно, потом письменно…

С. А письменное – что? Что сдавали?

С. Письменное сдавали – я написал, действительно, первую свою работу – по-видимому, она была хорошая…

С. Рецензию?

Г, Да, рецензию.

С. А на что?

Г. Спектакль Камерного театра, шел знаменитый спектакль, в котором Гайдебуров играл, там, у Таирова, это такой знаменитый актер, ваш петербургский, из Нардома вашего, который был закрыт, прошел [тяжелый путь] 32:33 а потом вернулся, сыграл там, поставил два великих спектакля. Это – они вместе в Народном доме начинали еще до революции с Таировым, пути разошлись, Таиров стал Таировым, а этот куда-то там… Великий актер, кстати говоря, о котором мало кто знает! ( Ну, так-то театральный мир знал его конечно). И я написал вполне понятно…

С. Какой спектакль-то?

Г. Два. Он пришел и – горьковская пьеса, когда возвращается с каторги человек и начинает тиранить свою там… Горького пьеса, замечательная, ну – Горький знал, что писать. Это абсолютно потом повторилось на моих глазах, я это видел в семье Марецких, когда вернулась любимая сестра из лагеря, и как она начала тиранить приютившую ее младшую – Веру[[10]](#footnote-10), потому что когда ей было деваться некуда, 33:35 [она взяла ее к себе. И та говорила ей:] ну, а я там, а ты тут. В открытую. Пока она просто из-за нее не умерла. Нрзб

С. Марецких?

Г. Марецких. Ах, а что ей сказать? Да, ты там, а я тут. Хотя она все, что могла, она делала, но она ничего не могла. Но ничего не получилось. Брат был расстрелян, любимый брат, это был такой бухаринский ученик, любимый очень… А сестра попала даже не за свои дела, за брата.

А это, значит – не «Фальшивая монета», другая пьеса… «Старик»! называется….

С. А, «Старик».

Г. Да. И Старик сам Гайдебуров был. О! Он знал, что играет. А дальше было собеседование, я в первый раз увидел своего учителя, Бояджиева, и тут я их всех совершенно поразил. Потому что на обычный вопрос: «Почему вы приходите в ГИТИС на театроведческий?» - на это обычно отвечают: «Потому что я люблю театр» - обычный ответ, а я сказал: «Потому что я люблю театральную критику!» - «А кого вы знаете?» - я всех знал. А потому что меня на самом деле страшно интересовало это дело – я читал… Я всех знал! Нрзб Меньше всего думал, что я буду этим заниматься! Но меня это интересовало, я только не знал, что мой интерес возник до моего ощущения, что это мое призвание, а интерес был, я все читал. Я знал всех их, и это настолько поразило их всех – первый раз за все это время…

С. Что они приняли?

Г. Тут же! Пятерка и все, и готово, а дальше, вообще говоря, дальше были в основном ребята или приезжие, или с войны, у них был свой грант, то есть, своя доля. Пришедшие ребята. Но их особенно брали…

С. Фронтовики, да?

Г. Фронтовики, их брали. Но часть нам давали. Но я был подготовлен все-таки. Хотя я не готовился совершенно… Единственное, что я умел делать – это решать тригонометрические и математические задачи запросто. А это там у меня не проверяли.

С. А как же плохие сочинения?

Г. Вот – первый раз я написал что-то хорошо, первый раз.

С. На экзамене вступительном.

Г. На экзамене.

С. А что еще было, какие были еще вступительные экзамены?

Г. Нет, все как полагается.

С. И собеседование было?

Г. Было собеседование – вот, про которое я сказал.

С. Собеседование, рецензия… Нет, как – в садике собеседование, вот это и было собеседование?

Г. Это и было собеседование.

С. Как, в садике, вот там…

Г. Нет…

С. А, потом, как экзамен: собеседование…

Г. А то – консультация.

С. А, ясно.

Г. А когда я стал сам работать, я превратил свои консультации именно в собеседования. Только абитуриенты этого не знали – что мы с Ленькой на этих консультациях примерно выясняли, кто они такие.

С. Когда стали работать в РГГУ[[11]](#footnote-11).

Г. Да.

С. Консультации с Леней Козловым, С Леонидом Козловым.

Г. Мы сразу понимали, кто чего стоит, - сразу же.

С. С Козловым, да?

Г. Да-да.

С. То есть, вы вдвоем принимали…

Г. Ну, там 75% было такого интереса профессионального, 25 % - немножко профессорского… (смеются)

С. Ну, конечно, у вас же были одни барышни!

Г. Я сказал честно! честный процент! Всегда было его право, его доля, и моя – они были равные… ты со своей доли свою берешь, я со своей – свою. Так же возникла Маринка, я еще даже ничего не понял, что он был в нее влюблен. Вот. А эта Роза Яковлевна – великая женщина, которая меня дважды спасала, когда меня – меня ж четыре раза из ГИТИСа выгнали – четыре!

С. Как, четыре, не три? Четыре?

Г. Нет, три меня в начале, а четвертый раз меня выгнали по академической неуспеваемости, Асеев поставил мне двойку за работу годовую. И это значит безоговорочно…

С. А три раза за политические дела? За космополитизм.

Г. Да, за космополитизм. И каждый раз Матвей[[12]](#footnote-12) (не Мотя Иофьев, Мотя мой, а его звали также), новый директор, сменивший Мокульского, меня восстанавливал!

С. Значит, новый директор, восстанавливал. Расскажите, пожалуйста, про нового директора, как он сменил Мокульского?

Г. [Мокульский] был аристократ, человек выдающихся знаний, умений, вообще такой выдающийся человек, абсолютно. Не только в театроведении, он был первый здесь, но и по западному, один из первых был здесь.

С. По западному искусству.

Г. По западной культуре, вообще. Ну и, вообще, человек культуры, конечно. И его сняли. И пришел Матвей Горбунов, отчества не помню, полковник из армии, из действующей армии, из действующей, что очень важно.

С. В каком году это было?

Г. В 49-м.

С. А, в 49-м, то есть, это именно та кампания, Мокульского убрали именно в этот момент.

Г. Да, убрали…

С. То есть, это было частью этой кампании?

Г. Мокульского убрали, и в назидание [поставили человека], совершенно далекого от какого бы то ни было искусства, от театра,

С. В назидание!

Г. Он так и не научился звать актеров актерами. Он всегда говорил «игрок»: «лучший игрок такой, лучший игрок такой», и у которого, как я это понял, не сразу, но понял, и по-моему, раньше других понял: а чего это он нас всех [восстанавливает]? Про меня вот трижды был приказ сверху от министерства о моем отчислении, и трижды он меня восстанавливал. Причем вызывал меня на собеседование…

С. Студента!

Г. Да.

С. Студента третьего курса.

Г. Я совершил, конечно, поступок неблагонадежный…

С. Какой поступок?

Г. Сейчас расскажу. Причем, он не только меня – он восстановил всю профессуру!

С. Ну, как известно, там профессоров выгнали, аспирантку Вишневскую, да? - и Вас.

Г. Всех, всех восстановил. Только, конечно, уже не на прежних должностях, но кто хотел, то пожалуйста. Не сразу. И я понял, в чем дело. Потому что провела эту кампанию ГэБуха: и это была кампания не столько идеологическая, сколько антисемитская, и это делало ГБ совершеннейшее, и представитель ГБ , Витя Залевский, наш коллега, который там работал (*был сексотом-ред.*), возглавлял комиссию по проверке, меня собственно, и подставил. Все это шло от ГБ. А Горбунов как действующи й полковник в армии, особистов ненавидел больше, чем кого бы то ни было: особистов.

1. Построен в 1939 году как павильон Поволжья, и дважды перестроен в 50-е годы как Павильон "Радиоэлектроника и связь" Архитекторы: Яковлев Е. В. и Шошенский И. М. (<http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=00_06&issid=1993028000&docid=324>). [↑](#footnote-ref-1)
2. 22 января 2013 года [↑](#footnote-ref-2)
3. На самом деле дом, о котором идет речь, сохранился. Он находится по адресу: улица Жуковского, 30, на углу с Екатерининской улицей. В действительности в этом доме, до революции принадлежавшем Е.В. и Е.К. Писпас, находилась зубоврачебная школа доктора И.И.Марголина и кабинеты других дантистов, которые там же и жили, в т.ч. А.М.Федермеера. Известно, что в 30-е годы А.М. Федермеер все еще жил там в квартире №5. См. <http://obodesse.at.ua/publ/zhukovskogo_ulica/1-1-0-131> [↑](#footnote-ref-3)
4. В 1918 году с января по март в Одессе была советская власть, далее – гетман Скоропадский и австро-венгерские войска, далее белые и интервенты. [↑](#footnote-ref-4)
5. В 1962-м [↑](#footnote-ref-5)
6. В Казань [↑](#footnote-ref-6)
7. Батуринский, Давид Абрамович. [↑](#footnote-ref-7)
8. Плотников пер 6/8 [↑](#footnote-ref-8)
9. Мотя – Моисей (Матвей) Иофьев (1925-1959), талантливый искусствовед и театральный критик, товарищ В.М.Гаевского. [↑](#footnote-ref-9)
10. В действительности Вера Петровна Марецкая была старшей сестрой, Татьяна – младшей. [↑](#footnote-ref-10)
11. С 1992 года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Директор ГИТИСа Матвей Алексеевич Горбунов [↑](#footnote-ref-12)